

УДК 821.161.1

М. А. Бойцов

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» КАК КРИПТОРОМАН ПРО РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Михаил Анатольевич Бойцов — доктор исторических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор Школы исторических наук, декан Факультета гуманитарных наук и заведующий Лабораторией медиевистических исследований НИУ ВШЭ.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, каб. 303а.

E-mail: mboytsov@hse.ru



Аннотация. В статье показывается, что традиционные интерпретации романа «Преступление и наказание» принципиально ошибочны, поскольку не учитывают того обстоятельства, что он создавался в условиях ужесточившейся цензуры. Исходить из уверенности, что замысел автора получил точное выражение в опубликованном тексте, неосмотрительно. Достоевский на многих страницах прибегает к эзопову языку, скрывающему то, что его роман во многом является ответом на «Что делать?» Николая Чернышевского. Как и Чернышевский, Достоевский обсуждает злободневный вопрос о том, что собой представляют русские революционеры. Раскольников интересен ему не как уголовный преступник, а как талантливый человек, заразившийся западными революционными идеями. Достоевский представляет себе революционера прежде всего как террориста, присвоившего право стоять выше закона не только человеческого, но и природного, самовольно решающего, кому жить, а кому умереть. Революционер якобы стремится облагодетельствовать челове-

чество, но на самом деле жаждет власти над «человеческим муравейником». Полемический ответ дал Писарев. Он настаивал на том, что Достоевский выдал читателю за революционера совершенно иной социальный тип и что пролитие крови отнюдь не обязательная черта приближающейся революции.



Ключевые слова: Достоевский, Чернышевский, Писарев, Каракозов, нигилизм, революционное движение, цензура, публицистика, эзопов язык, цена революции



Ссылка для цитирования: Бойцов М. А. «Преступление и наказание» как криптороман про русского революционера // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2021. Т. 4, № 2. С. 27–52.



DOI: 10.17323/2658-5413-2021-4-2-27-52

На простой вопрос, ради чего исключенный из Петербургского императорского университета студент Родион Романович Раскольников убил пожилую женщину, коллежскую регистраторшу Алену Ивановну, а заодно и единокровную сестру ее Лизавету, в Википедии предлагаются четыре разных ответа на выбор. Да и в самом романе «Преступление и наказание» их не меньше. При этом все предлагаемые мотивы при ближайшем рассмотрении оказываются малоубедительными. В них не уловить ни логики, ни психологической достоверности. Последнее особенно странно, поскольку сам роман заслуженно считается шедевром психологической прозы. Раз по ключевому пункту всей интриги концы с концами у автора никак не сходятся, возникает ощущение, что туман здесь не случайный, а преднамеренный. И по прошествии немалого уже времени он, похоже, не только не рассеялся, но скорее сгустился...

1

Как известно, роман «Преступление и наказание» был начат в августе 1865 года. По совпадению, хотя, как будет показано, пожалуй, и не совсем случайному, тем же 1865 годом датирована и коротенькая последняя, перспективная, глава другого известного романа, законченного двумя годами ранее, — «Что делать?». Помимо прочего, в нем незадолго до финала предвещалось, что около того же времени в Россию должен бы вернуться из долгих странствий колоритный потомок татарских темников, генеральский сын и недоучившийся студент — сперва естественник, а потом филолог — Рахметов. Откуда он начнет свой путь на родину, неизвестно — возможно, из Европы (быть может,

даже из Висбадена, где в первые дни августа 1865 года заезжий русский писатель Theodore Dostoiewsky спускал в курзале последние деньги), но скорее все же из Северо-Американских Штатов. Как говорил сам Рахметов еще при отъезде, «кажется, в России — не теперь, а тогда, года через три-четыре, — “нужно” будет ему быть» (Чернышевский, 1975: 214). «Года через три-четыре» — срок, который как раз и должен был истечь в 1864–1865 годах. Судя же по тому, что «дама в траурном платье» из предпоследней главы «Что делать?» предстала в финальной сцене в ярком розовом платье, розовой же шляпе, белой мантилье и с букетом в руке, к лету 1865 года Рахметов и впрямь должен был в Россию возвратиться. Да не просто возвратиться, а успеть — вместе с соратниками — пройти «скудное место» на их общем жизненном пути и «выйти на богатые радостью, бесконечные места» (там же: 215).

Между тем и все основное действие «Преступления и наказания» приходится на то же жаркое лето 1865 года, укладываясь в две недели, если отсчитывать от 7 июля (Тихомиров, 2016: 55). Родион Раскольников явился в контору квартального надзирателя с признанием в совершенном преступлении примерно за неделю до того, как Федор Достоевский по приезду в Висбаден заселится в отель «Виктория». Еще недели через две писатель, успев за пару дней проигратись в пух и прах и сидя в маленьком номере «без денег, без еды и без света», возьмется за перо, чтобы начать класть на бумагу историю убийства студентом старухи-процентщицы...

Как мы все отлично помним, Рахметов относился к числу совсем немногих «особенных» людей. Хорошо его знавший Николай Чернышевский утверждал, что встречал только «восемь образцов этой породы» (Чернышевский, 1975: 202). Правда, в точном числе он все же колебался, называя порой чуть меньшее (пять, шесть или семь), а то и чуть большее (девять), но уж за десять не заступив ни разу (Рейсер, 1975: 803–804). Вот и в статье с приблизительным названием «О преступлении», написанной с «опасным подавленным энтузиазмом» другим недоучившимся студентом — правда, не естественником, не филологом, а юристом, — упоминавшимся Родионом Раскольниковым, «по закону природы» «все люди как-то разделяются на “обыкновенных” и “необыкновенных”». Первых автор еще «материалом» называл. Что же до «необыкновенных» людей, «людей с новой мыслию, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало» (Достоевский, 1973а: VI, 199–200, 202). Грубая статистика, как у Чернышевского, здесь тоже приводится: «хотя сколько-нибудь самостоятельный человек» рождается один из тысячи, а вот великие гении, «завершители человечества» — «может быть, по истечении многих тысяч миллионов людей» (там же: 202).

Когда Раскольников, «вышедши» из университета, сочинял свою статью, он, вероятно, полагал, что широта его собственной «самостоятельности» соответствует хотя бы одному из десяти тысяч, а то и из ста, или даже из миллиона, но всего полгода спустя выяснилось — путем сугубо экспериментальным, — что он к числу людей «необыкновенных» по природе своей принадлежать не может. Другое дело Рахметов — в нем-то «тварь дрожащую» трудно заподозрить. Он был явно из тех, кто «право имеет», и ему, по теории Раскольникова, человеческий материал тратить дозволено... Тут ведь даже за терминологическое различие между «необыкновенными» и «особенными» не спрячешься: Свидригайлов, пересказывая идею Раскольникова, эту разницу непринужденно стирает: «Тут была тоже одна собственная теория, — так себе теория, — по которой люди разделяются, видите ли, на материал и на особенных людей, то есть на таких людей, для которых, по их высокому положению, закон не писан, а, напротив, которые сами сочиняют законы остальным людям, материялу-то, сору-то. Ничего, так себе теория <...>» (там же: 378). Вот «особенный» Рахметов и впрямь с людьми обращался утилитарно, как с материалом для достижения своих целей. Отчего в нем и видели «мрачное чудовище», хотя Чернышевский относился к его манерам с добродушием.

Что если бы Раскольников и впрямь оказался характером покрепче и выдержал до конца свою *пробу*? А то у него даже проба пробы не очень получилась: «Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... *пробу*, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то?» (там же: 50). Ему бы иначе себя вести: «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу»; «Да, особенный человек был этот господин, экземпляр очень редкой породы». Последние фразы, конечно, не про Раскольникова, замаравшего в крови убиенной старушки лишь «бахрому» от панталон да левый носок, а про Рахметова, всего залитого кровью после опыта с гвоздями... (Чернышевский, 1975: 212, 214). Достоевскому, однако, похоже, не верилось, что «особенные» люди при своих «пробах» проливают лишь собственную кровь...

Если бы Раскольников сумел все же скрыть свое преступление, доказал бы себе, что он «право имеет», то какую спасительную идею «может быть, для всего человечества» он бы тогда осуществил? На украденные три тысячи или пять закончил бы университет, а «лет через десять, двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства)» он «все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья...» В этих его «заученных» словах слышна такая же ложь, как и в сходной легенде, изложенной суду (Достоевский, 1973а: VI, 319, 411). Откуда взялись бы «тысячи жизней, спасен-

ных от гниения и разложения»? «Одна смерть и сто жизней взамен» — как бы реализовалась эта «арифметика», впечатлившая Раскольникова (там же: 54)? Какие такие «сотни, тысячи добрых дел» он бы сделал людям? Да еще и такого масштаба, что за это «венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества» (там же: 400)? Где нашелся бы его Тулон? В ранних вариантах романа Раскольников называл «необыкновенных» людей ярче — «предназначенными» (Достоевский, 1973b: VII, 187). К чему же он ощущал свое предназначение? Неужели на убийство ростовщицы Раскольникова могла вдохновить мечта дослужиться на закате дней, скажем, до действительного тайного советника и так стать «со временем даже человеком государственным», как грезил его мать (Достоевский, 1973a: VI, 412)?

2

В романе несколько раз мимолетно, но настойчиво, на разные голоса говорится о настроениях нынешней молодежи, «образованной от бездействия», которая «перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях», «увлекается остроумием», «шагает через все препятствия» (там же: 263, 370). Прямая связь между этими уродливыми молодежными теориями, несбыточными грезами и замыслом Раскольникова проводится в неправдоподобной сцене, выстроенной по условным правилам театральной поэтики давних времен, когда на сцену вызываются мимолетные персонажи исключительно для того, чтобы как бы невзначай объяснить главному герою общее положение дел и подсказать ему дальнейшие шаги. Безымянные «студент» и «молодой офицер» прямым текстом обсуждают, как от убиения никчемной Алены Ивановны и присвоения ее денег, «обреченных в монастырь», случилась бы польза для «молодых, свежих сил, пропадающих даром без поддержки». Офицер, правда, говорит, что убивать ростовщицу было бы против «природы» (он, похоже, консерватор), на что студент (лучше воспринявший новые веяния) возражает: «природу поправляют и направляют, а без того пришлось бы потонуть в предрассудках» (там же: 54).

Нереалистичность всего этого эпизода можно оправдать только тем, что «каких-то особых влияний и совпадений», приведших Раскольникова к преступлению, в романе длинная цепочка: кто-то словно готовил ему путь, подталкивал в спину. Если бы речь шла об Иване Карамазове, можно было бы с уверенностью сказать, что всему виной его черт, но и в «Преступлении и наказании» имеются основания заподозрить такое же вмешательство: «Молчи, Соня, <...> я ведь и сам знаю, что меня черт тащил <...> черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому

что я такая же точно вошь <...> А старушонку эту черт убил» (там же: 321–322). Собственно, тут-то черт, видимо, впервые и предстал писателю, поскольку в черновиках вместо конкретного «черта» действовал еще некий абстрактно-романтический «злой дух» (Достоевский, 1973b: VII, 80).

Однако вернемся к концу несомненно подстроеной чертом малоправдоподобной сцены: «Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры» (Достоевский, 1973a: VI, 55).

Именно этот пассаж вызвал возмущенную отповедь публициста Григория Елисеева в последних выпусках журнала «Современник». Хотя издана была еще только первая часть романа, его вредная тенденция демократическому критику уже была очевидна: консервативный романист, печатающийся у Каткова, клеветает на студенчество, возбуждает вражду к прогрессивной молодежи, к воодушевляющим ее новым идеям, к науке и просвещению... Елисеев дословно цитирует только что пересказанную сцену и делает вывод:

На наш взгляд, автор, приступая к своему роману, если он хотел изобразить действительное, прежде всего должен был бы спросить себя: существует ли то, что я хочу описывать и изъяснять? Бывали ли когда-нибудь случаи, чтобы студент убивал кого-нибудь для грабежа? Если бы такой случай и был когда-нибудь, что может он доказывать относительно настроения вообще студенческих корпораций? В каких состояниях и сословиях не бывало подобных исключительных случаев? Из каких источников могу я удостовериться, что студенты убийство из грабежа почитают *подавлением и направлением* природы?

(Елисеев, 1866a: 277–276)

Месяцем позже Елисеев счел нужным повторить тот же тезис:

...Основу романа г. Достоевского составляет предположенное им или принятое за данный факт существующее в студенческой корпорации покушение на убийство с грабежом, существующее в качестве принципа. От этого только и частный факт убийства, в сущности обыкновенного, принимает интерес в глазах читателя и делается сюжетом, годным для романа. <...> Какою, например, разумною целию может быть оправдано изображение молодого юноши, студента, в качестве убийцы, мотивирование этого убийства научными убеждениями и наконец распространение этих убеждений на целую студенческую корпорацию? Какое впечатление и влияние может иметь подобное изображе-

ние на читающую публику, которая привыкла видеть в науке основание и залог всего лучшего для своего будущего?

(Елисеев, 1866b: 37–39)

Елисеев был совершенно прав, когда критиковал писателя за надуманность созданной там художественной ситуации. Но, во-первых, критик, прочитав лишь первую часть романа, слишком поспешил с определением главной тенденции произведения, во-вторых, не обратил внимания на слова автора, что «молодые разговоры» велись «в других только формах», а главное, «и на другие темы». Наконец, в-третьих, неужто член редакции «Современника» не понимал, что далеко не все тогдашние «молодые разговоры» просто было передавать в печати?

Между тем «молодые разговоры», действительно беспокоившие Достоевского, конечно же относились не к тому, как убивать первую попавшуюся противную старушку, чтобы завладеть ее добром. Их содержание не так уж сложно восстановить, как из опубликованного текста романа, так и из его ранних версий и набросков. Впрочем, разве мы и так не осведомлены, что за «странные “недоконченные” идеи <...> носятся в воздухе» 1865 года? (Достоевский, 1985: XXVIII₂, 136). Не криминальные убийства обсуждались продвинутыми молодыми людьми, а политические. Неужели можно было от Достоевского, как и любого русского писателя, за исключением одного, осевшего в Лондоне, ожидать открытого рассуждения о вопросах, которые истинно добропорядочным подданным и шепотом-то задавать предосудительно? Впрочем, собирались кружки, где подозрительные лица их беспечно обсуждали — и даже во весь голос. В одном из набросков романа Достоевский описывает сходку у Разумихина — собрание, превратившееся в «умственную оргию», на котором «дело шло, разумеется, как и всегда, об самых отвлеченных вещах», и участники, судя по всему, в высказываниях не стеснялись. Не случайно там и Порфирий Петрович с Заметовым оказались — надо полагать, по долгу их непростой службы... (Достоевский, 1973b: VII, 207–208). Согласимся ведь, что Порфирий Петрович своими ухватками похож на типаж отнюдь не рядового пристава следственных дел, а опытного сотрудника тайной полиции. Где же ему и знакомиться с Раскольниковым, если не на интеллигентской пьяной сходке, когда собравшиеся до крика и хрипоты спорят о «самых отвлеченных вещах»?

3

Роман «Что делать?» написан эзоповым языком — это знают все и потому при чтении прилагают некоторые усилия, чтобы «перевести» его текст на

язык нормальный. Роман же «Преступление и наказание», напротив, читают почему-то удивительно доверчиво, принимая каждое слово за такое, что точнейшим образом передает замысел автора. Между тем в российской истории было не так много периодов — всякий раз кратких, — когда в эзоповом языке не чувствовалось нужды. Годы написания «Преступления и наказания» — 1865 и 1866 — менее всего можно отнести к одному из них.

Как много написано о душевной тяге Раскольникова к Наполеону, и как мало о том, по каким причинам он выбрал другие образцовые для себя фигуры. Галерея этих «героев» невелика, но пестра: первыми в ней неожиданно появляются Кеплер и Ньютон, за ними в качестве «законодателей и установителей человечества» отобраны Ликург, Солон, Магомет и Наполеон. Магомет здесь особенно интересен. Во-первых, потому что ему был посвящен отдельный очерк в книге влиятельного в России, но нелюбимого Достоевским Томаса Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841)¹. Правда, для знаменитого шотландца этот выбор был вынужденным. Сам-то он явно предпочел бы написать здесь о Христе, но счел это рискованным: «Мы останавливаем свой выбор на Магомете не потому, чтобы он был самым знаменитым пророком, а потому, что о нем мы можем говорить свободнее, чем о других» (Карлейль, 1898: 78). Достоевскому же Магомет должен был, напротив, оказаться весьма кстати, поскольку «нигилизм» нередко обзывали «новой верой», а демократических публицистов — ее «пророками». Спустя лет десять и «Что делать?» заклеят в печати «Кораном нигилизма». Ясно, что в устах тех, кто пользовался такими сравнениями, и «вера», и «пророки», и «Коран» были ложными...

Реформаторы Ликург и Солон очутились в необычном соседстве с Магометом и Наполеоном, но ведь все четверо старались преобразовывать свои общества на основе собственных концепций или озарений — и в этом их несомненное глубинное сходство. Тут же Раскольников утверждает, что «большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы» (Достоевский, 1973а: VI, 200). К Ликургу такой упрек совсем не подходит, Солон вел внешние войны десятилетиями, но насколько они были кровавыми, сведений не дошло. Впрочем, это не особенно и значимо, поскольку Раскольникова здесь беспокоит прежде всего кровь не чужих, а своих, притом «иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний за-

¹ Книга была известна российской публике уже хотя бы потому, что В. П. Боткин в 1855 и 1856 годах перевел и опубликовал в «Современнике», снабдив хвалебным предисловием, две — наименее опасные — из шести лекций (или «бесед») оттуда: «Язычество — скандинавская мифология — Один» и «Героическое значение поэта. Данте. Шекспир».

кон» (там же). Тем самым в рассуждениях Раскольникова даже реформаторы незаметно превратились в насильников, при необходимости проливающих кровь как доблестных противников их нововведений, так и вовсе невинных людей.

Еще смелее оказывается превращение Кеплера и Ньютона в потенциальных убийц. Ведь по крайней мере Ньютон «имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек [ставших на пути распространения общепользовательных знаний. — М. Б.], чтобы сделать известными свои открытия» (там же: 199). Все вышеназванные исторические персонажи являются яркими представителями тех самых «необыкновенных людей», которые «требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего» (там же: 200). И хотя «необыкновенные люди», выходя, всеми силами борются за воплощение идей, ценных для человечества, и именно ради них (и него) готовы проливать даже невинную кровь, тем не менее «тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее)» (там же).

Самое позднее на этом месте читателю должно стать окончательно ясно, что все Кеплеры и Солоны привлечены обоими сочинителями — Раскольниковым и Достоевским — сугубо для отвода глаз. Речь, несомненно, идет о революционерах — как их себе представлял Достоевский. Это они проходят в «Преступлении и наказании» под псевдонимом «необыкновенные люди» — точно так же, как в другом романе значились как люди «особенные». Это революционеры присвоили себе право совершать любые преступления, вплоть до убийства невинных, ради торжества неких учений, которые, как они полагают, принесут благо многим, а то и станут спасительными, «может быть, для всего человечества». В российских условиях *устранить* десять человек, «ставших на пути как препятствие», означает убить царскую семью, *устранить* сто — убить сверх того высших бюрократов и военных, ну и так далее. «Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!» (там же: 323). И это именно революционеров «казнит и вешает» «масса», состоящая из покорных режиму безгласных «вшей дрожащих», чтобы позже возвести их же на пьедесталы и поклоняться им.

Иносказательная статья Родиона Раскольникова, несомненно, посвящена революционерам, и сам он тоже хочет стать революционером, а топор ему полагалось бы присматривать не для Алены Ивановны, а для Александра Ни-

колаевича, но именно с этим возникают сложности — не только цензурного свойства.

Достоевский сначала сделал своего главного героя социалистом (Достоевский, 1973b: VII, 196, 211), но потом передал эту роль карикатурному Лебезятникову. От раннего замысла, быть может, осталось место, в котором Раскольников иронизирует над социалистами (Достоевский, 1973a: VI, 211; 1973b: VII, 188). В логике Достоевского превращение из социалиста (как и любого иного идеолога) в безыдейного циника можно понимать как следствие преступления: под его воздействием не только душа сохнет, но и любые ценности и идеологемы предстают пустой болтовней. В любом случае, будучи социалистом или нет, Раскольников озабочен улучшением всего общества. Однако еще в черновиках прочерчена двойственность намерений Раскольникова: с одной стороны, он желает принести благо людям, но с другой — мечтает о власти. Эта мысль дорога автору, он много раз к ней возвращается, ищет все новые формы ее выражения, прежде чем остановится на формулировках из драматического диалога Раскольникова и Сони.

Автору явно требуется выразить мысль, что в действительности революционеры гонят вперед именно жажда власти — осознаваемая ими или нет, — лишь прикрываемая для себя и других заботами о всеобщем благе. Именно ради обретения власти революционеры готовы сами идти на муки и нести смерть другим. Настоящим девизом революционера, как его понимал Достоевский, можно считать следующие слова Раскольникова: «Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! <...> Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!..» (Достоевский, 1973a: VI, 253). В черновиках эта же тема варьирует от обоснования Раскольниковым нужности ему власти ради высоких целей до признания им же абсолютной ценности власти как таковой. Сравним две цитаты: «Я власть беру, я силу добываю — деньги ли, могущество ль — не для худого. Я счастье несу» (Достоевский, 1973b: VII, 142) и «Счастье есть власть, — сказал он» (там же: 203). В черновиках обнаруживаются и еще более резкие реплики: «Главное NB. Он говорит: царить над ними!». «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество. Деспотизм — его черта». «Чем бы я ни был, что бы я потом ни сделал, — был ли бы я благодетелем человечества или сосал бы из него, как паук, живые соки — мне нет дела. Я знаю, что я хочу властвовать, и доволен». «Никакого мне не надо добра делать. Я для себя, да, для себя». «Люди — пигмеи, надо властвовать» (там же: 135, 155, 159, 174). Конечно, для Достоевского не существует неопределенного, «двойственного» обоснования

убийства — позитивного («хотел добра людям»), балансирующего на одних весах с негативным («Наполеоном хотел стать»). Конечно, все «позитивное» обоснование в устах Раскольникова — с самого начала и до конца самовнушение и самообман (Карякин: 1976). Вот только истоки этой авторской установки не только общего морального и религиозного, но и сугубо конкретного политического свойства.

Выбор именно Наполеона в качестве главного вдохновителя Раскольникова — отражение идеи кажущейся двойственности образа революционера. Революционер начинает с прекрасных замыслов, с героических поступков, как при взятии Тулона, с готовности к самопожертвованию, как на Аркольском мосту, составляет Кодекс, сметает накопившиеся веками предрассудки и несправедливости, а заканчивает диктатурой и огромными «тратами» тех самых людей, для блага которых якобы были все его старания. У заключительной лекции Карлейля, посвященной Кромвелю и Наполеону, был выразительный подзаголовок: *Modern Revolutionism*. Пожалуй, Кромвель, любимый герой самого Карлейля, подошел бы для замысла Достоевского еще лучше, чем Наполеон, но делать цареубийцу властителем дум русского студента было бы совсем уж неосторожно. Не говоря уже о другом сходном историческом персонаже, более близком по времени, чем Кромвель, — Максимильене Робеспьере.

Рамки выбранного сюжета в любом случае не позволили бы автору проследить постепенное перерождение революционера-идеалиста в тирана. Поэтому в характере Раскольникова и оказывается с самого начала заложено не очень натуральное стремление к деспотической власти, хотя лишь совершенное преступление открывает ему глаза на подлинную сущность собственных желаний. Здесь мерещится объяснительная схема Тацита, не предполагающая психологического развития персонажа: у Нерона всегда были тиранические наклонности, они лишь проявились со временем в подходящих обстоятельствах. В душе Раскольникова, однако, злое и доброе начала не уживаются мирно до поры до времени, а постоянно ведут ожесточенную борьбу с переменным успехом. Странно лишь, что он так ясно осознает свое властолюбие и так откровенно раскрывает Соне и читателю свои диктаторские устремления. Все-таки в двадцать три года мечтают обычно о геройстве, а не о господстве. Здесь Достоевскому, похоже, важнее психологической достоверности возможность обрисовать очередного представителя того *Modern Revolutionism*, который заманчиво сулит всеобщее благо, а ведет к деспотизму наихудшего сорта.

Деспотизм Наполеона вырастает из прекрасных и человеколюбивых теорий просветителей, желавших блага человечеству. Какой именно концепцией улучшения мира вдохновлялся Раскольников, остается неизвестным, поскольку

ку его «теория» бегло пересказана лишь в том, что относится к ее методам, но не к целям. Тем не менее справедливо, что «Алена Ивановна и русский царь» похожи в том, что покушения на обоих в сходной мере являются *теоретическими* преступлениями (Волгин, 1991: 33–34). Однако, во-первых, «идейно бескорыстными» они предстают, только если не вникать в глубинные — не обязательно даже осознанные — желания преступников, а во-вторых, сходства между двумя жертвами *теоретических* покушений намного больше — вообще-то они практически сливаются воедино...

Несложно догадаться, что для Раскольникова как кандидата в революционеры убийство злобной старушки, сосущей последние соки из народа, в чисто техническом смысле должно было стать подготовкой к куда более серьезному покушению («Проба. Нужно. Вижу, могу»). Однако Достоевскому здесь важен не предполагаемый следующий шаг Раскольникова, на который лучше бы даже и не намекать, а совсем другой вопрос. Покушение на жизнь не то что царя, а даже самого ничтожного и вредного из человеческих существ противоестественно. Оно идет против самой природы человека, которую революционеры тщетно пытаются «поправлять и направлять» во имя своих утопических идей. Простодушный Разумихин, в уста которого автор, похоже, нередко вкладывает собственные сентенции, возмущается социалистами: «Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! <...> С одной логикой нельзя через натуру перескочить!» (Достоевский, 1973а: VI, 197).

Из Раскольникова революционер не получился именно вследствие того, что его «натура», которую он на какое-то время сумел-таки «поправить», в конечном счете оказалась сильнее привнесенных извне умствований. Но ведь они его уже почти совратили, как тот самый черт, и замахнуться на ростовщицу — в основе своей почти то же, что и замахнуться на царя. Более того, на тот же путь уже почти готова встать и прекрасная Авдотья Романовна — в черновиках брат успел ее чуть ли не обратить в свою противоестественную веру. Вот Дуня уже и револьвер в руки взяла, правда, еще не против общественного зла, а против личного обидчика, но и в ней «натура» пока оказалась сильна — даже посильнее, чем в брате.

Откуда же берется вся эта чертовщина в молодых, талантливых и явно симпатичных автору людях? По мнению Достоевского, многократно им высказанному, революционные идеи чужды русскому человеку и могут появиться в его голове только занесенными из западных книжек. Закономерным образом Раскольников, по словам правдолюбца Разумихина, — весь «перевод с иностранного», как, очевидно, «переведены» и его туманные бесчеловечные теории (там же: 130).

4

Намеки на революционные настроения Раскольникова разбросаны по всему роману. В черновиках их еще больше, но в конечном счете автор, очевидно, счел за лучшее приглушить эту тему. Одна из самых важных сцен встречается уже во второй части. С Николаевского моста Раскольников всматривается в «действительно великолепную панораму» трех невских набережных. Он смотрит «по направлению дворца» и видит в деталях купол Исаакиевского собора, но вот, скажем, Адмиралтейства, которое ближе дворца, почему-то не замечает. Благонамеренному подданному следует испытывать любовь и восторг при виде двух символических вместилищ власти — царского дворца и собора. Не то у Раскольникова: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее» (там же: 90). Согласно одному из предыдущих вариантов той же сцены, «от этого вида» на героя повеяло «духом немоты и какого-то отрицания». Почувствовав, однако, надо полагать, кроющееся в такой формулировке странное уподобление хозяев дворца и собора нигилистам, автор убрал слово «отрицание» (Достоевский, 1973b: VII, 125).

Недружелюбный взгляд Раскольникова на *дворец* и *собор* заставляет вспомнить строку приговора одному из самых ярких петрашевцев, Николаю Спешневу, приговоренному к смертной казни расстрелянием «за злоумышленное намерение произвести переворот в общественном быте России, в отношении *политическом* и *религиозном*» (Ларин, 2000: 168).

Когда Раскольников еще посещал университет, именно с этим видом через Неву у него были связаны какие-то «вопросы и недоумения». Теперь же, совершив убийство, он, стоя на привычном месте, осознавая, что уже не может

...о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь всё это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и всё, всё... Казалось, он улетал куда-то вверх и всё исчезало в глазах его...

(Достоевский, 1973a: VI, 90)

Туманные намеки автора на «прежние темы», интересовавшие еще не «выключенного» студента Раскольникова, нигде не разъясняются, но понятно, что

они лишились для него смысла вследствие совершенного убийства или же, точнее, вследствие переживаний, вызванных в его душе этим преступлением. Именно тогда, возможно, улетучились его мечтания о вкладе в улучшение человечества, на каком бы теоретическом основании они ни держались...

В черновом варианте, писавшемся от имени главного героя, картина выглядит еще мрачнее:

Есть в нем одно свойство, которое всё уничтожает, всё мертвит, всё обращает в нуль, и это свойство — полнейшая холодность и мертвенность этого вида. Совершенно необъяснимым холодом веет от него. Духом немoty и молчания, дух «немой и глухой» разлит во всей этой панораме. Я не умею выразиться, но тут даже и не мертвенность, потому что мертво только то, что было живо, а тут знаю, что впечатление мое было совсем не то, что называется отвлеченное, головное, выработанное, а совершенно непосредственное. Я не видел ни Венеции, ни Золотого Рога, но ведь, наверно, там давно уже умерла жизнь, хоть камни всё еще говорят, всё еще «вопиют» доселе.

(Достоевский, 1973b: VII, 39–40)

Правка показывает, что Достоевский в этом абзаце последовательно нагнетал впечатление: к «всё уничтожает» он добавляет «всё мертвит», изначальную «холодность этого вида» заменяет на «полнейшую холодность и мертвенность этого вида», «необъяснимый холод» становится «совершенно необъяснимым холодом», к «духу немoty и молчания» предполагалось добавить что-то, начинавшееся «и тупою». В довершение на полях: «Мне всегда казалось что-то немое, глухое и отрицательное» (там же). Судя по меланхоличному сравнению с Константинополем (он же Второй Рим), Российская империя для Раскольникова либо уже умерла, либо находится при последнем издыхании, либо в лучшем случае стара и никчемна, как старуха-процентщица. Блеск и величие империи всецело в прошлом — так же, как блеск и величие Венеции. Кстати, одряхлевшую островную республику в 1797 году — то есть менее чем семьюдесятью годами ранее — без особых усилий подчинил не кто-нибудь, а Наполеон — любимый герой Раскольникова... Писатель тщательно подбирал слова, не раз возвращаясь к важной для него сцене, уточняя ее, но развивал в одном и том же направлении.

В Петербурге было еще одно место, вызывавшее у Раскольникова сходные чувства, — Сенатская площадь. «Тут всегда бывает ветер, особенно около памятника. Грустное и тяжелое место. Отчего на всем свете я никогда не находил тоскливее и тяжелее вида этой огромной площади?» (там же: 34). Действитель-

но, отчего? Комментаторы вспоминают здесь обычно «Медного всадника» — так же, как находят пушкинские мотивы в описании вида с Николаевского моста. Наверное, справедливо, но ведь, помимо литературоведческих ассоциаций, Сенатская площадь с декабря 1825 года вызывает и политические. При этом настолько ясные, что в опубликованном тексте романа места для ее упоминания не нашлось.

Разумихин неспроста заподозрил в Раскольникове вовсе не уголовного преступника: «Это политический заговорщик! Наверно! И он накануне какого-нибудь решительного шага. <...> Это, это политический заговорщик, это наверно, наверно!» (Достоевский, 1973а: VI, 340–341). И такое же подозрение зародилось, видимо, у людей сыска. Юный соглядатай Заметов, задает читавшему газеты Раскольникову вроде бы невинный полувопрос: «Много про пожары пишут...» В июле 1865 года газеты действительно были полны известиями о пожарах в столице (Достоевский, 1973b: VII, 378). Однако читатель должен был уловить здесь меж строк отсылку к куда более сильной эпидемии пожаров 1862 года, которую тогда в самых широких кругах объясняли поджогами, устроенными нигилистами, прежде всего студентами (см. Розенблюм: 1973). Раскольников сразу понимает, что Заметов готов увидеть в нем революционера-поджигателя, и реагирует с насмешкой, смысл которой уловит только читатель, знающий контекст:

«— Нет, я не про пожары. — Тут он загадочно посмотрел на Заметова: насмешливая улыбка опять искривила его губы. — Нет, я не про пожары, — продолжал он, подмигивая Заметову. — А сознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал?» (Достоевский, 1973а: VI, 125)².

В черновиках романа упоминалась «вдова Капет», то есть приговоренная к заключению, а потом и казненная королева Мария-Антуанетта. Ее образ мог быть использован в качестве примера неоправданной жертвы революционного насилия (ср. сходное предположение: Золотко, 2017: 102). И действительно, в двух разных набросках одного и того же эпизода такой контекст представляется возможным: «Вдова Капет. Христос, баррикада <...> *Veuve Capet*, мечты о всеобщем счастье» (Достоевский, 1973b: VII, 77, 86). Похоже, речь о Марии-Антуанетте заходила в том решающем разговоре Раскольникова с Соней, когда она будет читать ему Евангелие. Быть может, со вдовой Капет сравнивалась нечаянно и бессмысленно загубленная Лизавета? Ее-то убийство ведь никакой «теорией» не предусматривалось... Поскольку же именно эта глава была сокра-

² Ср. позже в «Бесах»: «— Всё поджог! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм!» (Достоевский, 1974: X, 395).

щена и существенно переделана в июне 1866 года по категорическому требованию издателей — Михаила Каткова и Николая Любимова, — усмотревших в ней «следы нигилизма», неизвестно, они ли заставили убрать «вдову Капет» или же автор и сам ранее решил от нее избавиться (там же: 325–326).

Порфирий Петрович говорит Раскольникову: «Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали! Еще бога, может, надо благодарить; почем вы знаете: может, вас бог для чего и бережет» (Достоевский, 1973а: VI, 351). Конечно, за словесными выкрутасами Порфирия Петровича не обязательно разыскивать точный статистический смысл. Однако от какого убийства (а речь идет явно именно об убийстве) Господь сохранил Раскольникова, если оно оказалось бы «в сто миллионов раз безобразнее» убийства Алены Ивановны? Численность населения Российской империи в 1863 году составляла ок. 75 миллионов человек (Статистический временник, 1866: 5, 65, 71). Сам Достоевский писал десятью годами позже о «наших девяноста миллионах русских» (Достоевский, 1971: 416). Поэтому поэтическое округление до ста миллионов выглядит совсем невинным преувеличением. Соответственно, только одно убийство могло примерно отвечать опасениям пристава следственных дел — покушение на государя императора, помазанника Божиего. Только оно, ввергнув в хаос и смуту Россию, могло принести беды сотне миллионов человек. Да и жизнь Раскольникова, по трезвой оценке Порфирия Петровича, продлилась бы после такого преступления совсем недолго, месяцев пять, пожалуй, а так бог его уберег... Вольно ж было самому Родиону Романовичу грезить, как станет героем, благодетелем, диктатором и «будет увенчан на Капитолии».

Вторая половина «Преступления и наказания» дописывалась уже после попытки двадцатипятилетнего недоучившегося студента-юриста Дмитрия Каракозова, человека «болезненного настроения», страдавшего «припадками меланхолии и ипохондрии», развивавшего идеи «самого крайнего социализма» и к тому же прямо подражавшего Рахметову, застрелить Александра II 4 апреля 1866 года. Это событие должно было повлиять на текст романа, может быть, и на только что приведенную калькуляцию Порфирия Петровича, как и на всю дискуссию вокруг статьи Раскольникова. Однако основные характеристики революционера в «Преступлении и наказании» были уже заложены раньше. И главный вопрос тоже поставлен: с какой стати революционер считает благом и даже подвигом отвергнуть не только законы, писанные правителями, но и законы самого человеческого естества? По какому праву он берется решать, кому жить, а кому умереть ради воплощения теоретической идеи, манящей

всеобщим счастьем? Поэтому когда Достоевский в 1868 году вспоминал, как «мы нашим идеализмом пророчили даже факты», он мог иметь в виду отнюдь не только убийство девятнадцатилетним студентом-юристом Алексеем Даниловым ростовщика Попова и его кухарки 12 января 1866 года (Достоевский, 1985: XXVIII₂, 329, 489).

Выходит, образ русского революционера оказывается для Достоевского сквозной темой, проходящей через его романы. От Родиона Раскольникова прямая линия ведет к Николаю Ставрогину (прототипом которого, кстати, считают упомянутого Николая Спешнева). На сущностное родство Раскольникова с будущим Ставровиным намекал и сам Достоевский, сообщая в письме 1870 года Аполлону Майкову о начале работы над романом «Бесы»: «Сел за богатую идею; не про исполнение говорю, а про идею. Вроде “Преступления и наказания”, но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса <...> Только уж слишком горячая тема» (Достоевский, 1986: XXIX₁, 107). От Ставровина та же линия протянется и дальше — к Алексею Карамазову. Не исключено, что какая-либо косвенная связь с революционной идеей, пускай в логике ее отрицания, — обнаружится и в образе князя Мышкина...

5

Потомки людей 1860-х годов разучились понимать эзопов язык «Преступления и наказания», правильно считывать разбросанные по страницам романа двусмысленности. Однако не было ли политическое содержание романа так глубоко упрятано от ока цензуры, что и первые читатели его не уловили — тем скорее, что роман даже при полном забвении его политической составляющей во все времена давал достаточно поводов для страстных споров?

Во всяком случае вдумчивая часть публики, похоже, все прекрасно поняла. Иначе трудно объяснить свидетельство современника, пускай и ироничное: «О новом романе говорили даже шепотом, как о чем-то таком, о чем вслух говорить не следует <...>» (О романе..., 1867). Неужели в подробно описанном единичном уголовно-психологическом казусе, созданном оголодавшим двадцатитрехлетним недоучкой, может содержаться нечто такое, о чем добропорядочной публике, хотя бы и провинциальной, непозволительно выразиться вслух?

Лучшим доказательством того, что заинтересованный читатель прекрасно уловил политическое содержание «Преступления и наказания», является статья Дмитрия Писарева «Борьба за жизнь» (1867). Напомним, что ее автору было всего года на четыре больше, чем Раскольникову, причем он успел отсидеть

больше четырех лет в крепости за призывы к низвержению династии Романовых и перемене строя в России. Статья хрестоматийна, но по-настоящему не понята. Обычно констатируется, что Писарев подробно — даже чересчур подробно и прямолинейно — описал социальные корни преступления Раскольникова. Когда же в «Борьбе за жизнь» проницательно усматривают работу о революционном движении, в ней не замечают диалога на равных с автором «Преступления и наказания» — именно потому, что не улавливают «контрреволюционного» содержания романа (Володин: 1969).

Согласно Писареву, «теория» для Раскольникова второстепенна: если бы родные прислали ему пятьсот рублей и сообщили о получении наследства «тысяч в двадцать серебром», он бы ее мгновенно забыл. Не какие-то особые взгляды подтолкнули его к преступлению, а сугубая нищета. Настойчивость, с какой Писарев на многих страницах убеждает читателя, что это социальные условия и только социальные условия довели студента до убийства старухи-процентщицы, свидетельствует вовсе не об узости взгляда критика на гениальный роман или же, упаси бог, на все общественное развитие. Писарев всего лишь хочет сказать, что Достоевский изобразил никакого не революционера, а отчаявшегося люмпена. К тому же *одинокого* люмпена, тогда как настоящий революционер — отнюдь не романтический герой: если в голову ему забредут какие-либо странные идеи, он избавится от них в кругу своих товарищей — «читающих и размышляющих молодых людей», которые вернут его на правильный путь (Писарев, 2005: IX, 152). Вместо характерного представителя передового общественного движения писатель в публицистическом увлечении — ради очернения революционеров — представил читателю совершенно другой социальный тип. Поэтому следующая фраза адресована, похоже, вовсе не герою романа, а его создателю:

Сооружая эту теорию, Раскольников не был беспристрастным мыслителем, отыскивающим чистую истину и готовым принять эту истину, в каком бы неожиданном и даже неприятном виде она ему ни представилась. Он был кляузником, подбирающим факты, придумывающим натянутые доказательства и подстроивающим искусственные сопоставления единственно для того, чтобы выиграть запутанный процесс самого сомнительного достоинства.

(Там же: 161)

Если для Достоевского революционер образца 1865–1866 годов — это террорист, то для Писарева революционное насилие и пролитие крови — дело необязательное и сугубо вынужденное. По главному вопросу романа он дает

развернутый ответ, который стоит привести почти целиком, несмотря на чрезмерную длину цитаты.

Кровопролитие становится неизбежным вовсе не тогда, когда его желает устроить какой-нибудь необыкновенный человек; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствие мешает этому, необыкновенному человеку осуществить свою личную идею или фантазию, а только тогда, когда две большие группы людей, две нации или две сильные партии резко и решительно расходятся между собою в своих намерениях и желаниях. Когда этим двум противным сторонам невозможно договориться до удовлетворительного результата, когда не остается никакой возможности покончить дело соглашением или любовным размежеванием столкнувшихся и перепутавшихся интересов, когда нет возможности разъяснить заблуждающейся стороне посредством спокойного научного анализа, в чем состоят ее настоящие выгоды и в чем заключается ошибочность и неосуществимость ее требований, — тогда, разумеется, остается только начать драку и драться до тех пор, пока правое дело не восторжествует. Но и здесь, в этих случаях, роль необыкновенных людей, правильно понимающих свое назначение, состоит совсем не в том, чтобы порождать и поддерживать драку. Прежде чем дело дойдет до кровопролития, необыкновенные люди, то есть самые умные и самые честные люди данного общества, всеми силами стараются о том, чтобы предупредить это кровопролитие и чтобы произвести как можно спокойнее ту перемену, которой требуют обстоятельства и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительною частью заинтересованной нации. Необыкновенные люди стараются открыть глаза своим соотечественникам и современникам, разъяснить им настоящее положение дел, направить их к мирному и безобидному выходу из затруднительного положения и доказать им необходимость обширных и добровольных уступок тому течению идей, которое называется духом времени и которое порождается общими причинами и условиями, а никак не выдумками и усилиями каких-нибудь необыкновенных людей. Честные и умные советы необыкновенных людей очень часто остаются непонятыми или даже невыслушанными; страсти спорящих сторон разгораются; разрыв становится неминуемым; и тогда необыкновенные люди, убедившись раньше массы в неизбежности открытой борьбы, из роли благоразумных советников переходят в роль воинов и полководцев. Они становятся решительно на ту сторону, которой стремления совпадают с истинными выгодами данной нации и всего человечества, они группируют вокруг себя своих единомышленников, они организуют, дисциплинируют и воодушевляют своих будущих сподвижников

и затем, смотря по обстоятельствам, выжидают нападения противников или наносят сами первый удар. Когда борьба начата, все внимание необыкновенных людей устремляется на то, чтобы как можно скорее покончить кровопролитие, но, разумеется, покончить так, чтобы вопрос, породивший борьбу, оказался действительно решенным и чтобы условия примирения не заключали в себе двусмысленных комбинаций и уродливых компромиссов, способных при первом удобном случае произвести новое кровопролитие. Ни перед борьбою, ни во время борьбы, ни после ее окончания необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития. Кровь льется не потому, что в данном обществе, в данную минуту действуют необыкновенные люди, а потому, что деятельность этих необыкновенных людей не может перевесить собою массу человеческого неблагоприятия, узкого своекорыстия и близорукого упрямства. Кровь льется совсем не для того, чтобы подвигать вперед общее дело человечества; напротив того, это общее дело подвигается вперед, *несмотря* на кровопролития, а никак не *вследствие* кровопролитий; виновниками кровопролитий бывают везде и всегда не представители разума и правды, а поборники невежества, застоя и несправия.

(Там же: 148–149)

Написано достаточно ясно, чтобы понять истинное содержание как приведенного отрывка, так и соседних страниц, почти не прибегая к методу опытного в таком чтении Порфирия Петровича: «вашу статью перебирать, как стали вы излагать — так вот каждое-то слово ваше вдвойне принимаешь, точно другое под ним сидит!». Похоже, именно из-за прозрачности ее содержания вторую часть статьи (ту, где про революционеров, а потом про социальные корни), цензура не пропустила, в отличие от первой части (где только про социальные корни). Как докладывал Санкт-Петербургскому цензурному комитету 17 мая 1867 года цензор (и сам опытный публицист) Федор Еленев, Писарев «рисует восторженными чертами характеристику каких-то “необыкновенных людей”, не высказывая категорически, кого именно он подразумевает под этим названием; но не надобно быть слишком знакомым с условною фразеологией подобных писателей, чтобы понять, что автор под необыкновенными людьми понимает здесь политических агитаторов» (там же: 479).

Отповедь Достоевскому по поводу тяги революционеров к насилию Писарев написал в апреле 1866 года (там же: 477–478). Однако даже осторожных аллюзий на покушение Каракозова в его статье не обнаруживается, не говоря уже о самых отдаленных намеках на сочувствие хотя бы к личности террори-

ста, если и не к его деянию. Скорее наоборот, рассуждения Писарева уместно понять в том смысле, что он дистанцируется от террориста Каракозова никак не меньше, чем от уголовника Раскольников: отказывая Раскольникову в принадлежности к «необыкновенным людям», он отказывает в том же и Каракозову. Если так, то Писарев неверно оценил *ближайшую* перспективу развития революционного движения, а Достоевский, напротив, был проницателен, создавая в 1865–1866, а затем и в 1870–1872 годах образы революционеров-террористов. Зато *дальнюю* перспективу Писарев угадал точнее, упомянув о кровопролитии как неизбежном следствии столкновения «больших групп людей», которые «резко и решительно расходятся между собою в своих намерениях и желаниях». Вот только все его многословные заклинания об ограничении кровавого насилия самыми узкими рамками сугубой необходимости оказались прекраснодушными мечтаниями...

Чего Писарев совсем не касался, так это особенностей *русских* революционеров — он и наличия таких особенностей, видимо, не признавал. Однако для Достоевского столкновение европейских революционных идей с «натурой» русского человека представляло собой проблему, заслуживающую исследования. Раскольников оказался в его глазах, видимо, истинно русским революционером, но «русскость» для писателя проявлялась не в генеалогических корнях (у Рахметова они, кстати, были глубже), или, скажем, в склонности временами ходить по Волге с бурлаками, внушая им уважение физической силой. «Русскость» Раскольникова выразилась в том, что попытка первого же практического шага к воплощению занесенной извне идеи вызвала такое сопротивление самой «природы» человека, что ни «подавить», ни «направить» ее по-настоящему туда, куда требовалось «теорией», оказалось невозможным. А вот собственной душой заплатить за чужую жизнь пришлось.

И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ли я право власть иметь? — то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? — так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон...

(Достоевский, 1973а: VI, 321)

Вот и Каракозов, видимо, оказался истинно русским революционером: стреляя почти в упор, он ухитрился не попасть в государя. Сколько бы потом

власти ни чествовали Осипа Комиссарова, якобы отведшего руку убийцы, им до конца так и не поверили: похоже, покушавшийся сам дрогнул...

Пора поблагодарить российскую цензуру. Под ее дамокловым мечом политическую злободневность в «Преступлении и наказании» пришлось упрятать так далеко, что в конечном счете роман от этого только выиграл. Едва ли кто-либо из сегодняшних читателей узнаёт в нем очередную реплику в бесконечной дискуссии российской интеллигенции о революционерах и революции...

6

Достоевский в одном черновике вместо «Разумихин» случайно написал «Рахметов». (Достоевский, 1973b, VII, 71). Конечно, Разумихин похож на Рахметова разве что физической силой, выносливостью и неприхотливостью, а в остальном — ничего общего. Однако эта описка свидетельствует, что образ Рахметова преследовал сочинителя «Преступления и наказания». И неспроста: происшествие 4 апреля 1866 года ясно показало, что Рахметов в Россию и впрямь вернулся. Вот только «дама в траурном платье» так до сего дня траур и не сняла.

Литература

Волгин, 1991 — *Волгин И. Л.* Последний год Достоевского. М.: Сов. писатель, 1991. 544 с.

Володин, 1969 — *Володин А. И.* Раскольников и Каракозов (К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь») // *Новый мир.* 1969. № 11. С. 212–231.

Достоевский, 1971 — *Достоевский Ф. М.* IX. Записная тетрадь (1875–1876) / подгот. текстов Л. М. Розенблюм; коммент. Г. М. Фридлиндера // *Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг.* М.: Наука, 1971. С. 366–516. (Литературное наследство. Т. 83).

Достоевский, 1973a — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. Т. 6: Преступление и наказание. Роман в 6 ч. с эпилогом. 423 с.

Достоевский, 1973b — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. Т. 7: Преступление и наказание. Рукописные ред. 416 с.

Достоевский, 1974 — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. Т. 10: Бесы. Роман в 3 ч. 518 с.

Достоевский, 1985 — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. Т. 28, кн. 2: Письма. 1860–1868. 616 с.

Достоевский, 1986 — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. Т. 29, кн. 1: Письма. 1869–1874. 576 с.

Елисеев, 1866а — [Елисеев Г. З.] Журналистика. Январь, 1866 // Современник. 1866 [Февраль]. Т. СХII, отд. II. С. 263–280.

Елисеев, 1866б — [Елисеев Г. З.] Журналистика. Февраль, 1866 // Современник. 1866 [Март]. Т. СХIII, отд. II. С. 32–79.

Золотько, 2017 — *Золотько О. В.* Образ «золотого века» в творчестве Ф. М. Достоевского: дис. ... канд. филол. наук. М., 2017.

Карлейль, 1898 — *Карлейль Т.* Герои и героическое в истории. Публичные беседы / 2-е изд., пер. с англ. В. И. Яковенко. СПб.: Ф. Павленков, 1898.

Карякин, 1976 — *Карякин Ю. Ф.* Самообман Раскольникова. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М.: Худож. лит., 1976. 158 с.

Ларин, 2000 — *Ларин А. М.* Государственные преступления. Россия. XIX век. Тула: Автограф, 2000. 606 с. (Юридическое наследие. XX век).

О романе..., 1867 — О романе «Преступление и наказание» // Гласный суд. 1867. 16 марта. № 159.

Писарев, 2005 — *Писарев Д. И.* Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. М.: Наука, 2005. Т. 9: Статьи. 1867. 550 с.

Рейсер, 1975 — *Рейсер С. А.* Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Из рассказов о новых людях / изд. подг. Т. И. Орнатская и С. А. Рейсер. Л.: Наука, 1975. С. 782–833. (Литературные памятники).

Розенблюм, 1973 — *Розенблюм Н. Г.* Петербургские пожары 1862 г. и Достоевский (Запрещенные цензурой статьи журнала «Время») // Достоевский Ф. М. Новые материалы и исследования. М.: Акад. Наук СССР, 1973. С. 16–54. (Литературное наследство. Т. 86).

Статистический временник, 1866 — Статистический временник Российской империи. Сер. 1, вып. 1. СПб.: Центральный статистический комитет, 1866.

Тихомиров, 2016 — *Тихомиров Б. Н.* «Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Серебряный век, 2016. 560 с.

Чернышевский, 1975 — *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Из рассказов о новых людях / изд. подг. Т. И. Орнатская и С. А. Рейсер. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. 872 с. (Литературные памятники).

“CRIME AND PUNISHMENT”
AS A CRYPTONOVEL ABOUT A RUSSIAN REVOLUTIONARY



Mikhail A. Boytsov — DSc in History, Tenured Professor at the School of History, Dean of the Faculty of Humanities and Head of the Center for Medieval Studies, National Research University “Higher School of Economics”. Address: 303a, 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.
E-mail: mboytsov@hse.ru



Abstract. The article demonstrates that the usual interpretations of the novel *Crime and Punishment* are fundamentally erroneous, since they do not take into account the fact that it was created under conditions of censorship. To assume that the author’s intention has been accurately expressed in the published text is but imprudent. Dostoevsky resorted to Aesopian language on many pages, hiding the fact that his novel was in many ways a response to the “What Is to Be Done?” by Chernyshevsky. Like the latter, Dostoevsky discusses the burning question: who are Russian revolutionaries? Raskolnikov is interesting to him not as a criminal, but as a talented person infected with Western revolutionary ideas. Dostoevsky imagines the revolutionary as a terrorist arrogating to himself the right to stand above the law, not only human, but also natural one, deciding on his own who will live and who will die. The revolutionary supposedly seeks to bless humanity, but in reality he longs for power over the “human anthill”. Pisarev gave a polemical answer to this line of the novel. He insisted that Dostoevsky described as revolutionary a person of completely different social type and that shedding of blood will be by no means an obligatory feature of the approaching revolution.



Keywords: Dostoevsky, Chernyshevsky, Pisarev, Karakozov, nihilism, revolutionary movement, censorship, journalism, Aesopian language, the price of revolution



For citation: Boytsov, M.A., 2021. “Crime and Punishment” as a Cryptonovel about a Russian Revolutionary’, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 4(2), pp. 27–52. (In Russ.)



DOI: 10.17323/2658-5413-2021-4-2-27-52

References

Carlyle, T., 1898. *Geroi i geroicheskoe v istorii. Publichnye besedy* [Heroes and the heroic in history. Public conversations]. 2nd edn. Translated from the English by V.I. Yakovenko. St. Petersburg: F. Pavlenkov Publ.

Chernyshevskii, N.G., 1975. *Chto delat'?* Iz rasskazov o novykh lyudyakh [What is to be done? Tales about new people]. The edition was prepared by T.I. Ornatskaya and S.A. Reiser. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Dostoevskii, F.M., 1971. 'IX. Zapisnaya tetrad' (1875–1876)' ['IX. Notebook (1875–1876)']. Preparation of texts by L.M. Rosenblum; comments by G.M. Friedlander. In *Neizdannyi Dostoevskii. Zapisnye knizhki i tetradi 1860–1881 gg.* [Unpublished Dostoevsky. Notebooks 1860–1881]. Moscow: Nauka Publ., pp. 366–516. (Literaturnoe nasledstvo. Vol. 83).

Dostoevskii, F.M., 1973a. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 6: Prestuplenie i nakazanie. Roman v 6 chastyakh s epilogom* [Complete Works: in 30 vols. Vol. 6: Crime and Punishment. Novel in 6 parts with an epilogue]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Dostoevskii, F.M., 1973b. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 7: Prestuplenie i nakazanie. Rukopisnye redaktsii* [Complete Works: in 30 vols. Vol. 7: Crime and Punishment. Handwritten revisions]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Dostoevskii, F.M., 1974. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 10: Besy. Roman v 3 chastyakh* [Complete Works: in 30 vols. Vol. 10: Demons. Novel in 3 parts]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Dostoevskii, F.M., 1985. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 28, kniga 2: Pis'ma 1860–1868* [Complete Works: in 30 vols. Vol. 28, bk. 2: Letters. 1860–1868]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Dostoevskii, F.M., 1986. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 29, kniga 1: Pis'ma 1869–1874* [Complete Works: in 30 vols. Vol. 29, bk. 1: Letters. 1869–1874]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

[Eliseev, G.Z.], 1866a. 'Zhurnalistika. Yanvar', 1866' ['Journalism. January 1866'], *Sovremennik*, [Feb.], vol. CXII, section II, pp. 263–280.

[Eliseev, G.Z.], 1866b. 'Zhurnalistika. Fevral', 1866' ['Journalism. February 1866'], *Sovremennik*, [Mar.], vol. CXIII, section II, pp. 32–79.

Karyakin, Yu.F., 1976. *Samoobman Raskol'nikova. Roman F.M. Dostoevskogo "Prestuplenie i nakazanie"* [Self-deception by Raskolnikov. F.M. Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment"]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ.

Larin, A.M., 2000. *Gosudarstvennye prestupleniya. Rossiya. XIX vek* [State crimes. Russia. 19th century]. Tula: Avtograf Publ.

‘O romane “Prestuplenie i nakazanie” [‘About the novel “Crime and Punishment”], 1867. *Glasnyi sud*, 16 Mar.

Pisarev, D.I., 2005. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 12 tomakh. Tom 9: Stat’i. 1867* [Complete works and letters: in 12 vols. Vol. 9: Articles. 1867]. Moscow: Nauka Publ.

Reiser, S.A., 1975. ‘Nekotorye problemy izucheniya romana “Chto delat’?” [‘Some problems of studying the novel “What is to be done?”], in Chernyshevskii, N.G., *Chto delat’? Iz rasskazov o novykh lyudyakh* [What is to be done? Tales about new people]. The edition was prepared by T.I. Ornatskaya and S.A. Reiser. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ., pp. 782–833.

Rozenblyum, N.G., 1973. ‘Peterburgskie pozhary 1862 g. i Dostoevskii (Zapreshchennye tsenzuroi stat’i zhurnala “Vremya”)’ [‘Petersburg fires of 1862 and Dostoevsky (Articles of the journal “Vremya” prohibited by the censorship)’], in *Dostoevskii F.M. Novye materialy i issledovaniya* [Dostoevsky F.M. New materials and research]. Moscow: Akademiya Nauk SSSR Publ., pp. 16–54. (Literaturnoe nasledstvo. Vol. 86)

Statisticheskii vremennik Rossiiskoi imperii. Seriya 1, vypusk 1 [Statistical Time Book of the Russian Empire. Ser. 1, iss. 1], 1866. St. Petersburg: Tsentral’nyi statisticheskii komitet Publ.

Tikhomirov, B.N., 2016. “Lazar’! gryadi von”. Roman F.M. Dostoevskogo “Prestuplenie i nakazanie” v sovremennom prochtenii: Kniga-kommentarii [“Lazarus! Come out”. F.M. Dostoevsky’s Novel “Crime and Punishment” in a contemporary reading: Book-commentary]. 2nd edn, revised and enlarged. St. Petersburg: Serebryanyi vek Publ.

Volgin, I.L., 1991. *Poslednii god Dostoevskogo* [Dostoevsky’s last year]. Moscow: Sovetskii pisatel’ Publ.

Volodin, A.I., 1969. ‘Raskol’nikov i Karakozov (K tvorcheskoi istorii stat’i D. Pisareva “Bor’ba za zhizn”)’ [‘Raskolnikov and Karakozov (To the creative history of D. Pisarev’s article “Struggle for Life”)’], *Novyi mir*, (11), pp. 212–231.

Zolot’ko, O.V., 2017. *Obraz “zolotogo veka” v tvorchestve F.M. Dostoevskogo: dis. ... kand. filol. nauk* [The image of the “Golden Age” in the works of F.M. Dostoevsky: Dissertation ... PhD in Philology]. Moscow.